

Ганс Христиан Андерсен

Тетушка зубная боль

Откуда мы взяли эту историю? Хочешь знать?

Из бочки мелочного торговца, что битком набита старой бумагой.

Немало хороших и редких книг попадает в бочки мелочных торговцев, не как материал для чтения, а как предмет первой необходимости: надо же во что-нибудь завертывать крахмал, кофе, селедки, масло и сыр! Годятся для этого и рукописи. И вот в бочку часто попадает то, чему бы вовсе не следовало. Я знаком с подручным из одной бакалейной лавки; он, собственно, сын мелочного торговца из подвала, но сумел подняться оттуда в магазин первого этажа. Молодой человек очень начитан: у него ведь под рукой целая бочка всякого чтения: и печатного, и рукописного. И вот, мало-помалу у него составилось преинтересное собрание. В собрание это входят, между прочим, кое-какие важные документы из корзинки для ненужных бумаг чересчур занятого или рассеянного чиновника, и откровенные записочки от приятельниц к приятельницам, содержащие такие скандальные сообщения, о которых, собственно говоря, нельзя бы и заикаться. Боже сохрани! А уж передавать их дальше — и подавно! Собрание моего знакомого — настоящая спасательная станция для многих литературных произведений, и поле его деятельности тем обширнее, что в его распоряжении бочки из двух лавок — хозяйской и отцовской. Много поэтому удалось ему спасти и книг, и отдельных страниц, которые стоило перечесать и два раза.

Он и показал мне однажды свое собрание интересных печатных и рукописных произведений, извлеченных главным образом из бочки мелочного торговца. Между прочим, я обратил внимание на несколько страниц, вырванных из большой тетради; необыкновенно красивый и четкий почерк сразу бросился мне в глаза.

— Это писал студент! — сказал молодой человек. — Он жил вон в том доме напротив и умер месяц тому назад. Он, как видно из этих страниц, страшно мучился зубами. Описано довольно забавно! Тут осталось немного, а была целая тетрадь; родители мои дали за нее квартирной хозяйке студента полфунта зеленого мыла; но вот все, что мне удалось спасти.

Я попросил его дать мне прочесть эти страницы и теперь привожу их здесь.

Заглавие гласило:

«Тетушка Зубная боль»

В детстве тетушка страшно пичкала меня сладстями; однако зубы мои выдержали, не испортились. Теперь я стал постарше, сделался студентом, но она все еще продолжает угощать меня сладким — уверяет, что я поэт.

Во мне, правда, есть кое-какие поэтические задатки, но я еще ненастоящий поэт. Часто, когда я брожу по улицам, мне кажется, что я в огромной библиотеке; дома представляются мне этажерками, а каждый этаж — книжной полкой. На них стоят и «обыкновенные истории», и хорошие старинные комедии, и научные сочинения по всем отраслям, и всякая «литературная гниль», и хорошие произведения — словом, я могу тут фантазировать и философствовать вволю! Да, во мне есть поэтическая жилка, но я еще не настоящий поэт. Такая жилка есть, пожалуй, и во многих людях, а они все-таки не носят бляхи или ошейника с надписью «поэт».

И им, как и мне, дана от Бога благодатная способность, поэтический дар, вполне достаточный для собственного обихода, но чересчур маленький, чтобы делиться им с другими людьми. Дар этот озаряет сердце и ум, как солнечный луч, наполняет их ароматом цветов, убаюкивает дивными, мелодичными звуками, которые кажутся такими родными, знакомыми, где же слышал их впервые — вспомнить не можешь.

На днях вечером я сидел в своей каморке, изнывая от желания почитать, но у меня не было ни книги, ни даже единого печатного листка, и вдруг на стол ко мне упал листок — свежий зеленый

листок липы. Его занесло ко мне в окно ветерком.

Я стал рассматривать бесчисленные разветвления жилок. По листку ползала маленькая букашка, словно задавшаяся целью обстоятельно изучить его, и я невольно вспомнил о человеческой мудрости. Ведь и мы все ползаем по маленькому листку, знаем один лишь этот листок и все-таки сплеча беремся читать лекцию о всем великом дереве — и о корне его, и о стволе, и о вершине: мы толкуем и о Боге, и о человечестве, и о бессмертии, а знаем-то всего-навсего один листок!

Тут пришла ко мне в гости тетушка Миллэ. Я показал ей листок с букашкой и передал, что мне пришлось по этому поводу в голову. Глаза у тетушки загорелись.

— Да ты поэт! — вскричала она. — Пожалуй, величайший из современных поэтов! Дожить бы мне только до твоей славы, и я бы охотно умерла! Ты всегда, с самых похорон пивовара Расмусена, поражал меня своей удивительной фантазией! — С этими словами тетушка расцеловала меня.

Кто же такая была тетушка Миллэ и кто такой пивовар Расмусен?

Тетушкой мы, дети, звали тетку нашей матери; другого имени подобрать ей мы не умели.

Она страшно пичкала нас вареньем и сахаром, хотя все это могло испортить наши зубы, но она не могла не побаловать нас: она питала к милым деткам такую слабость и считала просто жестоким отказывать им в сладостях, которые они так любят! Зато и мы очень любили тетушку.

Она была старой девой, и с тех самых пор, как я ее помню, все одних лет! Она как будто застыла в одном возрасте.

В молодости тетушка сильно страдала зубами и так часто рассказывала об этом, что остроумный друг ее, пивовар Расмусен, прозвал ее тетушкой Зубною болью.

Он в последние годы уже оставил свое занятие и жил доходами с капитала. Вот у него так и совсем не было зубов, а кое-где торчали только черные корешки. Дело в том, рассказывал он нам, детям, что мальчиком он ел чересчур много сладкого, и вот что из этого вышло!

А тетушка так, должно быть, совсем не ела в детстве ничего сладкого — зубы у нее были белые-пребелые!

— Зато она и бережет-то их как! — говорил пивовар. — Даже не спит с ними ночью!

Мы, дети, почуяли в этих словах какой-то злой намек, но тетя уверила нас, что это он сказал только так.

Однажды за завтраком она рассказала, что ей приснился дурной сон — будто бы у нее выпал зуб! И это означает, прибавила она, что я лишусь истинного друга или подруги!

— Ну, а если это был фальшивый зуб, — усмехнулся пивовар, — то, значит, вы лишитесь только фальшивого друга!

— Вы — невежливый старый господин! — сердито проговорила тетушка; такой сердитой я не видывал ее никогда, ни прежде, ни после.

По уходе пивовара она, впрочем, сказала нам, что старый друг ее хотел только пошутить, что он благороднейший человек в свете и, когда умрет, станет Божиим ангелочком на небе!

Я сильно задумался над этим превращением, спрашивая себя, узнаю ли я пивовара в новом виде? Когда и тетя и он были еще молоды, он сватался за нее, но она слишком долго раздумывала, ну и засела в девах, хотя и осталась ему верным другом.

И вот пивовар Расмусен умер.

Его везли на самой дорогой погребальной колеснице; за ней тянулся длинный хвост провожатых; между ними были даже господа в орденах и мундирах!

Тетушка, вся в трауре, смотрела на процессию из окна, собрав около себя всех нас, ребят, кроме младшего братца, которого за неделю перед тем принес нам аист.

Колесница проехала, скрылись из виду и все провожавшие ее; улица опустела, и тетушка хотела отойти от окна, но я не хотел — я ждал ангелочка: пивовар Расмусен превратился ведь теперь в

ангелочка с крылышками и должен был показаться нам! .

— Тетя! — сказал я. — Как ты думаешь, ангелочек Расмусен появится сейчас или, может быть, его принесет аист, когда опять вздумает прилететь к нам с маленьким братцем?

Тетушка была просто поражена моей богатой фантазией и сказала: «Из этого мальчика выйдет великий поэт!» И она повторяла это все время, пока я ходил в школу, повторяла, когда я уже конфирмовался, и даже теперь, когда я стал студентом.

Да, тетушка принимала и продолжает принимать живейшее участие и в моем поэтическом, и в зубном недуге. Я страдаю по временам припадками и того и другого.

— Только выливай на бумагу все твои мысли! — говорила она. — И бросай их в ящик стола! Так делал Жан-Поль и сделался великим поэтом, хотя я и недолюбливаю его! Он как-то не захватывает! А ты должен захватывать! И будешь!

Всю ночь после этого разговора я провел в муках, сгорая желанием стать тем великим поэтом, которого видела и угадала во мне тетушка. Да, я мучился припадком поэтического недуга! Но есть еще худший недуг: зубная боль! Та могла доконать, уничтожить меня вконец, превратить в какого-то извивающегося червя, обложенного припарками и шпанскими мушками!

— Мне эта боль знакома! — говорила тетушка, сострадательно улыбаясь, а зубы ее при этом так и сверкали белизной.

Но теперь наступает новая глава, как в описании моей жизни, так и в описании жизни тетушки. Я перебрался на новую квартиру, прожил в ней уже с месяц и вот как описывал свое жилище в разговоре с тетушкой.

— Живу я в «тихом семействе»; хозяйева не обращают на меня внимания — даже если я звоню три раза подряд. В доме нашем постоянный крик, шум, гам и сквозняки. Комната моя приходится как раз над воротами, и стоит проехать под ними телеге — все картины так и заходят по стенам; ворота захлопываются, и весь дом содрогается, словно от землетрясения. Если я лежу в постели, сотрясение отдается у меня во всем теле, но это, говорят, укрепляет нервы. В сильный ветер, а у нас тут вечно сильный ветер, железные болты ставень раскачиваются и бьют о стену, а колокольчик на соседнем дворе звонит без умолку.

Соседи мои по дому возвращаются домой не все в один час, а так, понемножку, один за другим, кто — поздним вечером, кто — даже ночью. Верхний жилец, что играет на тромбоне, целый день ходит по урокам, возвращается домой позже всех и ни за что не уляжется прежде, чем совершит маленькую ночную прогулку взад и вперед по комнате; тяжелые шаги его так и раздаются у меня в ушах, словно сапожищи у него подкованы железом.

В доме нет двойных рам, зато в моей комнате есть окно с выбитым стеклом. Хозяйка залепила его бумагой, но ветер все-таки пробирается сквозь скважину и гудит, словно шмель. Это колыбельная песня. Но едва я, наконец, усну под нее, меня живо разбудит петушиное ку-ка-ре-ку. Это петухи и куры мелочного торговца возвещают скорое наступление утра. Маленькие пони, которые помещаются в чуланчике под лестницей, — для них не имеется особого стойла — лягаются ради моциона и стучат копытами о двери.

Занимается заря; привратник, ночующий со всей семьей на чердаке, грузно спускается по лестнице; деревянные башмаки его стучат, ворота скрипят и хлопают, дом ходит ходуном. Когда же и это все кончено, над головой моей начинаются гимнастические упражнения верхнего жильца. Он берет в обе руки по тяжелой гире, но сдержать их не в силах, и они поминутно падают на пол. В это же время подымается на ноги и вся детвора в доме и с шумом и криком спешит в школу. Я подхожу к окну подышать свежим воздухом — свежий воздух так подкрепляет! Но рассчитывать на него я могу лишь в том случае, если девица, живущая в заднем флигеле, не чистит перчаток бензином, а она этим только и живет! И все-таки это очень хороший дом, и живу я в очень тихом

семействе!

Вот как я описал тетушке мое житье-бытье. Описание это вышло в устной передаче еще живее; устное слово всегда ведь свежее, жизненнее написанного!

— Ты положительно поэт! — вскричала тетушка. — Только изложи все на бумаге, и ты — тот же Диккенс! А по мне, так и еще интереснее! Ты просто рисуешь словами! Слушая тебя, так вот все и видишь перед собой, сама переживаешь все! Брр! Даже дрожь пробирает! Продолжай же творить! Но вводи в свои описания и живых лиц, людей, хороших, милых людей, лучше же всего — несчастных!

Вот я и описал здесь мой дом, каков он есть со всеми его прелестями, но действующих лиц пока никаких, кроме себя самого, не вывел. Они явятся позже!

Дело было зимою, поздно вечером, по окончании спектакля в театре. Погода стояла ужасная — такая вьюга, что с трудом можно было пробираться по улице.

Тетушка отправилась в театр и взяла меня с собой — я должен был потом проводить ее домой. Но тут и одному-то едва-едва можно было двигаться, а не то что с дамой! Все извозчики были разобраны; тетушка жила далеко от театра, а я, напротив, очень близко; если бы не это, нам с ней пришлось бы засесть в первой сторожевой будке!

Мы вязли в сугробах, нас заносило снегом; я поддерживал, подымал, подталкивал тетушку, и мы упали всего два раза, да и то на мягкую подстилку.

Наконец, мы добрались до ворот моего дома и стряхнули с себя хлопья снега, на лестнице отряхнулись опять и все-таки, войдя в самую квартиру, засыпали снегом весь пол в передней.

Затем мы поснимали с себя и верхнее, и нижнее платье, все, что только можно было снять.

Хозяйка моя одолжила тетушке сухие чулки и чепчик — самое необходимое, по словам доброй женщины, — и затем совершенно резонно объявила, что тетушке в такую погоду нечего и думать добраться до дому — так пусть переночует в гостиной, где ей устроят постель на диване возле запертой на ключ двери в мою спальню.

Так все и сделали.

В печке у меня развели огонь, на столе появился самовар, в комнатке стало тепло, уютно, хоть и не так, как у тетушки. У нее зимою и двери, и окна плотно завешены толстыми гардинами, полы устланы двойными коврами, под которыми положен еще тройной слой толстой бумаги, — сидишь словно в закупоренной бутылке, наполненной теплым воздухом! Но и у меня, как сказано, стало очень уютно. За окном выл ветер.

Тетушка говорила без умолку; на сцену выступили старые воспоминания: юные годы, пивовар Расмусен и проч. Тетушка припомнила даже, как у меня прорезался первый зубок и какая была по этому поводу радость в семье.

Да, первый зубок! Зуб невинности, блестящий, как молочная капелька, молочный зуб!

Прорезался один, за ним другой, третий, и вот выстраиваются целых два ряда, один сверху, другой снизу, чудеснейших детских зубов! Но это еще только авангард, а не настоящая армия, которая должна будет служить нам всю жизнь. Но вот является и она, а за нею и зубы мудрости, фланговые, прорезывающиеся с такою болью и трудом!

А потом они мало-помалу и выбывают из строя, выбывают все до единого, и даже раньше времени, не отслужив всего срока! Наконец, настает день — нет и последнего служивого, и день этот уже не праздник, а день печали. С этого дня ты — старик, как бы ни был молод душой!

Не очень-то весело думать и говорить о таких вещах, а мы с тетушкой все-таки заговорили о них, вернулись затем к годам детства и болтали, болтали без конца. Было уже за полночь, когда тетушка, наконец, удалилась на покой в соседнюю комнату.

— Покойной ночи, милый мой мальчик! — крикнула она мне из-за двери. — Теперь я засну,

словно на своей собственной постели!

И она уgomонилась, но дом наш и погоду никакой uгомон не брал! Буря дребезжала оконными стеклами, хлопала длинными железными болтами ставень и звонила на соседнем дворе в колокольчик; верхний жилец вернулся домой и принялся расхаживать перед сном взад и вперед, потом швырнул на пол свои сапожищи и, наконец, захрапел так, что слышно было через потолок. Я не мог успокоиться; не успокаивалась и погода; она вела себя непозволительно резво. Ветер был на свой лад, а зубы мои начали ныть на свой. Это была прелюдия к зубной боли!

Из окна дуло. Лунный свет падал прямо на пол; временами по нему пробегали какие-то тени, словно облачка, гонимые бурей. Тени скользили и перебегали, но, наконец, одна из них приняла определенные очертания; я смотрел на ее движения и чувствовал, что меня пробирает мороз. На полу сидело видение, худая длинная фигура, вроде тех, что рисуют маленькие дети грифелем на аспидной доске: длинная тонкая черта изображает тело, две по бокам — руки, две внизу — ноги, и многоугольник наверху — голову.

Скоро видение приняло еще более ясные очертания; обрисовалось одеяние, очень тонкое, туманное, но все же ясно указывающее на особу женского пола.

Я услышал жужжание. Призрак ли то гудел, или ветер жужжал, как шмель, застрявший в оконной скважине?

Нет, это гудела она! Это была сама госпожа Зубная боль, исчадие самого ада! Да сохранит и помилует от нее Бог всякого!

— Тут славно! — гудела она. — Славное местечко, болотистая почва! Тут водились комары; у них яд в жалах, и я тоже достала себе жало, надо только отточить его о человеческие зубы! Ишь, как они блестят вон у того, что растянулся на кровати! Они устояли и против сладкого, и против кислого, против горячего и холодного, против орехов и сливных косточек! Так я ж расшатаю их, развинчу, напoлню корни сквозняком! То-то засвистит в них!

Ужасные речи, ужасная гостья!

— А, так ты поэт! — продолжала она. — Ладно, я научу тебя всем размерам мук! Я примусь за тебя, прижгу тебя каленым железом, продерну веревки во все твои нервы!

В челюсть мне как будто вонзили раскаленное шило; я корчился от боли, начал извиваться, как червь.

— Чудесный материал! — продолжала она. — Настоящий орган для игры! И задам же я сейчас концерт! Загремят и барабаны, и трубы, и флейты, а в зубе мудрости — тромбон! Великому поэту — великая и музыка!

И вот она начала играть! Вид у нее был ужасный, нужды нет, что я видел одну ее руку, эту туманную, холодную, как лед, руку с длинными, тонкими, шилообразными пальцами. Каждый был орудием пытки: большой и указательный образовывали клещи, средний был острым шилом, безымянный — буравом, и мизинец — спринцовкой с комариным ядом.

— Я научу тебя всем размерам! — опять начала она. — Великому поэту — великая и зубная боль, а маленькому поэту — маленькая!

— Так пусть я буду маленьким! — взмолился я. — Пусть совсем не буду поэтом! Да я и не поэт! На меня только находят временами припадки стихотворного недуга, как находят и припадки зубного! Уйди же! Уйди!

— Так ты признаешь, что я могущественнее поэзии, философии, математики и всей этой музыки? — спросила она. — Могущественнее всех человеческих чувств и ощущений, изваянных из мрамора и написанных красками? Я ведь и старше их всех! Я родилась у самых ворот рая, где дул холодный ветер и росли от сырости грибы. Я заставила Еву одеваться в холодную погоду, да и Адама тоже! Да, уж поверь, что первая зубная боль имела силу!

— Верю! — сказал я. — Верю всему! Уйди же, уйди!

— А ты откажешься от желания стать поэтом, писать стихи — на бумаге, грифельной доске, на чем бы то ни было? Тогда я оставлю тебя! Но я вернусь, как только ты опять возьмешься за стихи!

— Клянусь, оставлю все! — сказал я. — Только бы мне никогда больше не видеть, не чувствовать тебя!

— Видеть-то ты меня будешь, только в более приятном и дорогом для тебя образе — в образе тетушки Миллэ, и я буду говорить тебе: «Сочиняй, мой милый мальчик! Ты великий поэт; пожалуй, величайший из наших поэтов!». Но если ты согласишься мне и возьмешься за кропание стихов, я положу твои стихи на музыку и разыграю ее на твоих зубах! Так-то, милый мальчик! Помни же обо мне, беседуя с тетушкой Миллэ!

Тут она исчезла.

На прощанье я получил в челюсть еще один укол раскаленным шилом. Но вот боль начала утихать... Я как будто скользил по зеркальной глади озера, вокруг меня цвели белые кувшинки с широкими зелеными листьями... Они колыхались, погружались подо мною, увядали, распадались в прах, и я погружался вместе с ними, погружался в какую-то тихую бездну... Покой, тишина!..

«Умереть, растаять, как снежинка, испариться, превратиться в облако и растаять, как облако!» — звучало вокруг меня в воде.

Сквозь прозрачную воду я видел сияние великих имен, надписи на развевающихся победных знаменах, патенты на бессмертие, начертанные на крыльях мухи-поденки.

Я погрузился в глубокий сон, без сновидений, и не слышал больше ни воя ветра, ни хлопанья ворот, ни звона колокольчика, ни гимнастики верхнего жильца.

Блаженство!

Вдруг налетел такой порыв ветра, что запертая дверь в комнату, где спала тетушка, распахнулась. Тетушка вскочила, надела башмаки, накинула платье и вошла ко мне. Но я спал — рассказывала она мне потом — сном праведника, и она не решилась разбудить меня. Я проснулся сам; в первую минуту я ничего не помнил, не помнил даже, что тетушка ночевала тут, в доме, но потом припомнил все, припомнил и ужасную ночную гостью. Сон и действительность слились в одно.

— А ты не писал чего-нибудь вечером, после того как мы попрощались? — спросила тетушка. — Ах, если бы ты писал! Ты ведь у меня поэт и будешь поэтом!

Мне показалось при этом, что она лукаво-прелукаво улыбнулась, и я уж не знал — любящая ли это тетушка Миллэ предо мною или ужасное ночное видение, взявшее с меня слово никогда не писать стихов?

— Так ты не писал стихов, милый мой мальчик?

— Нет, нет! — вскричал я... — А ты... ты — тетушка Миллэ?

— А то кто же? — сказала она. И впрямь это была тетушка Миллэ. Она поцеловала меня, взяла извозчика и уехала домой.

Я, однако, решил написать то, что тут написано: это ведь не стихи, да и напечатано никогда не будет!..»

На этом рукопись обрывалась. Молодой друг мой, будущий приказчик бакалейного магазина, так и не мог добыть остальной части тетрадки; она пошла гулять по белу свету в виде обертки для селедок, масла и зеленого мыла — выполнила свое назначение!

Пивовар умер, тетушка умерла, сам студент умер, а искорки его таланта угодили в бочку. Вот каков был конец истории — истории о тетушке Зубной боли!